



Наталья Эннюлю
Павла Рипинская
Ирина Лукашева
Елена Асеева
Эльчин Сафарли
Инга Ланская
Исмаил Иманов
Лариса Бортникова
Самит Алиев
Саша Денисова
Ирина Ларькова

Тысяча и две ночи. Наши на Востоке (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4928985

Тысяча и две ночи. Наши на Востоке. Рассказы и повесть: АСТ, Астрель; Москва; 2010
ISBN 978-5-17-064990-7, 978-5-271-26790-1, 978-5-17-065049-1, 978-5-271-26826-7,
978-5-17-093180-4

Аннотация

Восток – это не только шумный рынок-карнавал, переполненный заморскими торговцами, не только корабль Синдбада-морехода, причаливший к неведомо-прекрасному краю, и чувственная Шахерезада у трона грозного Шахрияра... Это еще много удивительных и необычайных явлений, событий, традиций. Много светлого и темного, таинственного и открытого. Это книга о жизни на Востоке, жизни не плохой и не хорошей – а просто другой. Рассказы, представленные в этом сборнике, написаны нашими, русскими и не совсем русскими авторами, которые выросли в среде советского затворничества. Путешествуйте по Востоку с нашим сборником, с самым подробным и настоящим путеводителем.

Эльчин Сафарли, составитель этого сборника, представил в нем свою новую скандальную повесть «Запрет на себя». Литературные критики уже предрекают этому поистине шокирующему произведению всемирную славу.

Содержание

От составителя	4
Рассказы	5
Эльчин Сафарли	6
Лариса Бортникова	15
Павла Рипинская	30
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Тысяча и две ночи Наши на Востоке Рассказы и повесть Составитель Эльчин Сафарли

От составителя

Так много есть книг о Востоке, но нет ни одной, в которой было бы показано все его многообразие, и сразу с разных точек зрения. Хотя нет, все же такая книга есть – сказки «Тысяча и одной ночи», но и она полна волшебства и далека от повседневной реальности. А ведь Восток – это не только шумный рынок-карнавал, переполненный заморскими торговцами, не только корабль Синбада-морехода, причаливший к неведомо-прекрасному краю, и чувственная Шехерезада у трона грозного Шахрияра, вплетающая одну сказку в другую для услаждения слуха султана... Это еще много удивительных и необычайных явлений, событий, традиций. Много светлого и темного, таинственного и открытого.

Вот так мы и решили создать вторую, «взрослую», версию «Тысяча и одной ночи», где сказка живет бок о бок с реальностью, а истории не всегда имеют счастливый конец. Только не подумайте, что эта книга из серии «восточных страшилок», которые сегодня так несправедливо представляют Восток нашему читателю.

Это книга о жизни на Востоке, жизни не плохой и не хорошей – а просто другой. И люди там другие, но у всех людей на свете одинаковые одиночество, радость, разочарование, победы и поражения... Рассказы, представленные в этом сборнике, написаны *нашими*: русскими и не совсем русскими авторами, которые выросли в среде советского затворничества. Поэтому мы надеемся, что каждое произведение будет особо интересно русскому читателю...

Путешествуйте по Востоку с нашим сборником, с самым подробным и настоящим путеводителем.

Ваш Эльчин Сафарли

Рассказы



Эльчин Сафарли Там, где должна быть...

*...что-то догнивает, а что-то выжжено – зима была тяжела,
а ты все же выжила, хоть не знаешь, зачем жила,
почему-то всех победила и все смогла –
город, так ненавидимый прокуратором, заливают весна и мгла...*

Вера Полозкова

Он сидит напротив. Чужой и свой – одновременно. Некогда эпицентр моего женского счастья, который сейчас воспринимается как неотъемлемая часть прошлого, но при этом далекого, туманного и уже не важного, что ли. Он – «был», в рамки «есть» – не входит. «Еще два года назад я изнывала в тоскливом ожидании тебя, считая твои объятия спасательным кругом, а сегодня все – никак. Будто сердце перепрограммировали...» Мысли-воспоминания обуревают, но я сдерживаюсь, не произношу их вслух. Поздно.

Признаюсь, я не могу уверенно сказать: любовь прошла без следа. Слишком легкомысленное объяснение для такого мощного, переворачивающего все с ног на голову чувства. Просто появилось что-то не менее мощное, что заволокло то полыхающее и уводящее от реальности. Разочарование? Может быть. Но я уверена, что со временем это разочарование сделает меня открытой чему-то новому.

Но мне еще предстоит излечиться от хронической усталости. Нет, упаси Боже, я не собралась покончить с собой. Просто на данном этапе судьбы мне трудно. Открывать глаза по утрам, улыбаться зеркалу, считаться с начальством, обсуждать в курилке две самые актуальные темы – мужчины и кризис, следить за фигурой, воздерживаясь от клубничных маффинов, отвечать на флирт, пробираться сквозь кольцевые пробки, расставлять желтоголовые смайлы в переписках и звонить папе по вечерам.

Я нуждаюсь в перерождении, хотя на пороге тридцатилетия задумываться о нем как-то поздновато. Обычно на подходе к «среднему возрасту» дышится намного свободнее, чем в те же 25. Перестаете заниматься самокопанием, не гонитесь за чисто бабским эпатажем и впечатываете в сознание девиз из «Алых парусов»: «Чудеса надо делать своими руками».

Однако я как-то иначе приближаюсь к тридцатнику: все еще с кавардаком в личной жизни, все еще с привычкой курить крепкие сигареты, но зато с не менее крепкой верой в то, что и на моей улице грузовик рассыплет грушевые леденцы. А это уже прекрасно! Честно скажу, я привыкла к тому, что у меня в жизни все происходит не через попу, как у многих, а как-то иначе...

В любом случае я не собираюсь бросать якорь на этом отрезке жизни. И эта встреча с ним, окончательное осознание его чужеродности – первый шаг к новому, необходимому.

* * *

За то время, что ты жил для себя, а я жила тобою, все поменялось в том мире, где мы с тобой когда-то обитали. Я отдала дворовой бомжихе то самое пальто цвета мокрой черешни, перестала гадать по ресницам, выросла до начальника отдела, стала жутко бояться хлопка закрывающейся двери, но так и не научилась забываться в работе – я ею спасалась. Зато более масштабные перемены накрыли тебя. Женился во второй раз. Теперь у тебя сын. Ты храбро и звонко рассказывал мне о своем пацане «с такими же глазами, как у меня», а я слушала, местами умилялась, но чаще злилась. Где-то внутри мне так хотелось, чтобы эти герои твоей новой жизни исчезли, провалились куда-нибудь. Тогда ты остался бы со мной.

И я родила бы тебе сына... Нет, это уже не мое, чужое, другая жизнь... Потом ты вытащил мобильный и показал их фотографии. Мутные, яркие. Счастливые. Мне стало стыдно. За себя. За мысли отчаянно любящей женщины. Да, у него и вправду твои глаза. Такие же дерзкие.

* * *

Илья уходит, забыв пачку «Парламента» на столике. Я даже не провожаю его взглядом. Кончиком ложки вывожу сердце на гуще томатного супа с базиликом и со светлой печалью понимаю, что все произошедшее в моей жизни за последние годы обрело привкус, но не какой-то конкретный вкус. Уж больно много было упущений, опозданий, пропусков. Что-то перехвачу на бегу, удивлюсь или расстроюсь, и бегом дальше. Куда? Навстречу чему? К иллюзии абсолютного счастья? Не знаю.

Я спешила, не останавливаясь надолго в пространстве переживаемого чувства, не смакуя его, как душистый виски. Пригублю чуток, минуты две передохну, отмечу про себя на автомате случившийся факт и – вперед. В остальном – суетливая повседневность в режиме нон-стоп. Карьера, мужчины, вылазки на фитнес, периодические диеты и разочарования, ненастная бытовуха.

Сейчас осознала, что я просто жутко боялась увязнуть в тревожных мыслях о будущем. В нем присутствовало что угодно, кроме стабильности. Сплошные шаткие цели. Я не была уверена в том, что создаваемое или поддерживаемое мною по-настоящему нужно мне. И отношения с ним в том числе. Но в случае с Ильей все затуманивала любовь. А лучшего оправдания для пережитого, переживаемого не существует.

Самый бесценный (пусть и горький) опыт человек приобретает в любви. Любые доводы меркнут на фоне той любви, что исходит всемирным криком из самых глубин сердца. Пусть ветер рвет цветущие каштаны в пышные лохмотья, пусть кризис никогда не проходит, а кто-то пафосно добреет под натиском желания заслужить себе рай. Все, абсолютно все, – чужд редкостная на фоне того всеобъемлющего счастья, что рождается в страстном сплетении любящих тел...

Познакомилась с Ильей совершенно прозаично и не в самом романтическом месте города, не верящего слезам. В пробке на пути к Лефортовскому тоннелю. В жаркий день раннего июня. Наши машины, сжатые разношерстной автомобильной массой, стояли почти вплотную друг к другу, на одной линии. Боковые зеркала вот-вот соприкоснутся, двинутся некуда – и мы посмотрели друг на друга.

Ты, выдохнув сигаретный дым, с океаническим отчаянием в серо-зеленых глазах, глядя на меня, сказал: «Я так устал. Ото всего». А я, как-то нелепо выдержав совершенно напрасную паузу, ответила: «Я тоже». Следом ты предложил «забить на весь сегодняшний дурдом» и заехать выпить чего-нибудь прохладного. Согласилась. Мы свернули на ближайшем повороте и, избавившись ото всего «очень срочного», отправились туда, куда хотим, а не туда, куда каждому из нас изначально было нужно. «Вот и встретились два одиночества...»

На тот момент за нашими спинами тянулись длинные шлейфы из запутанных судеб. Он женился, развелся, искал встреч с дочерью, к которой жена не подпускала, но на которую усиленно требовала денег. Я, самоуверенная на первый взгляд женщина с треснутым сердцем, пыталась забыться в нудных отчетах, в приходных и расходных ордерах, кассовых чеках.

Почему так привязалась к тебе? Наверное, из-за того, что ты появился в момент кульминации моей усталости. Такой чисто женской усталости, когда и на вопрос: «Для кого ты так прихорашиваешься?» – не можешь уже с призывной гордостью ответить: «Для себя!» Я тогда жила под прожженной скатертью действительности, искала ответы в отражении своих

же печальных глаз и убегала от постоянства в объятия каких-то промежуточных мужчин, которые любят повторять «я еще не встречал такой, как ты» и не задумываются о том, о чем никогда не узнают. И вдруг появляешься ты, мнимое впечатление постоянства с ранней сединой в черничных волосах.

Ты был другой. Эсэмэсы – другие. Поступки – другие. Решительный взгляд, ласковый прищур и абсолютная ненужность слов – милая, в нашем арсенале только поступки. Я сда-лась. Точнее, ты сам подошел ко мне близко-близко и моей же рукой разорвал сумерки за окном. Дальше – все так, как я уже отучилась представлять. Стучащая в висках кровь и призраки тающего тумана, твои запястья в охвате моих вспотевших ладоней, жаркие дни босиком по горячей траве, приятно опустошенные ночи, в границах которых о самом важном думалось так легко, кристально чисто. И самое дорогое, наконец – чувствовать в себе столько любви, что, кажется, она разорвет грудную клетку, польется через край, рассыплется крошечными пылинками по вселенной, но в тебе ее не станет ни на грамм меньше.

Такие неповторимые подростковые ощущения: думаешь, они остались позади, там, во времени дефицита уверенности и светлых разочарований, ан нет, вот они, снова выются вокруг пестрыми бабочками. Ты не дал мне совершить тот последний шаг, после которого обрыв. Это самое большое, за что я тебе благодарна. А все, что я пишу сейчас, переживаю снова, – остро необходимо. Возможность взглянуть на себя иначе, разложить чувства в коробки, запаковать их, отправить на чердак. И переместить тебя из эпицентра памяти в слои, подслои. Окончательно. Память ведь бывает коварной. Наряду с теплыми, наполненными весенним светом, запахами апельсинов воспоминаний, она щедро демонстрирует тебе картинки мира, где вечно идет дождь, даже тогда, когда на небе светит солнце.

Благодаря тебе я не написала на последней странице дневника эти слова: «Алло? Бог? Слышишь? Я сдаюсь». Хотя, веришь, когда-то они нарывали во мне, и я чуть было не запила их бокалом воды из холодильника. В тот момент я, пытаюсь утопить гложущее одиночество в горячих ваннах с ванильной пенкой, бесконечно просматривала в голове старый фильм о безответной любви. И вот уже от частого просмотра лента растрескалась, помехи бегают, звук прерывается, а я не останавливаюсь. Почти съехала на садомазохизм, как появился ты.

Ты возродил во мне аппетит к жизни, снял с меня тесные туфли, напоил чаем, угостил пирогом из недозрелых груш, приготовленным твоей домработницей Инессой Павловной, и предложил: «Диан, или мы идем дальше вместе, или ты одна остаешься в этой жопе. Выбери». Я ничего не сказала, протянула руку к твоей руке, встала и пошла. Не за тобой, а рядом с тобой...

Илья, в отличие от меня, не говорил и не писал, как и от чего я его спасла. Читала слова этого закрытого, сложного, но такого настоящего мужчины в прикосновениях, поцелуях, чуть грубоватых порывах страсти. Я писала ему эсэмэсы в дни его важных встреч и не получала ответа. Не обижалась. Знала, он ценит, перечитывает, ждет. Хотя... Мне кажется, чаще всего женщины романтически приукрашивают то, что совершенно обыденно. Ведь по сути поводов для разлуки всегда оказывается больше, чем причин для того, чтобы остаться вместе...

Мы расстались, как и встретились, в жару раннего июня – спустя двадцать четыре месяца. Без конкретной причины (не считая его периодических измен, но о них узнала позже), на которую можно было бы сослаться, рассказывая о разрыве подруге Нелли на теплой кухне за бутылкой холодного martini. Без конкретной ошибки, которую можно было бы уечь, с целью не повторить ее снова.

Все остыло, ушло, переросло во что-то пустое, другое, такое незнакомое. Мы не разо-шлись. Просто тот единый путь, наш путь, расслоился на две кривые, оброс поистине китай-скими стенами, и мы перестали видеть друг друга... Было больно, но боль ушла, оставив после себя огромную московскую усталость.

* * *

Ты говорил, что моя кожа пахнет жженым сахаром, а я целовала тебя от пупка до ямочки на подбородке. Снизу вверх. И сейчас, с самого дна моего разочарования в тебе, я прокладываю из оправданий путь на поверхность. Нет, я не пытаюсь создать тебя нового, чтобы снова полюбить. Нет, я не хочу реинкарнировать прекрасное прошлое в какое-то, точнее, отсутствующее настоящее. Просто, листая пожелтевшие страницы воспоминаний, мне страшно думать, что все произошедшее с нами – пустышка, иллюзия. Я не боюсь назвать себя круглой душой или обманутой женщиной, коих тысячи, если не миллионы. Зато до зуда в затылке боюсь потерять веру в любовь – столько ее нынче унижают безверием, столько от нее отказываются, мол, без нее жить легче. А мне нет. Я все еще верю в настоящее, искреннее, пылкое, без масок и расчета. Верю наперекор давлению тех, кто повторяет «деньги, деньги, деньги» или «секс, секс, секс». «В 30 пора выходить из сказочного леса в реальность. Милая, мы по своей воле обманываемся любовью, а потом расплачиваемся за это... Забей на любовь, просто живи». Мои подруги наступают, я – сопротивляюсь, твердо стою на месте, вглядываюсь в горизонт – вот-вот придет подмога.

* * *

– Тебе надо мужика завести и перестать слушать Земфиру, а не о переезде в какую-то глухомань думать. Детка, грусть уже давно не тренд сезона... Давай еще по коктейльчику, а?

– Нель, хватит про эти тренды, шмотки, лабутены! Ты не понимаешь, я хочу изменить все?! У меня такое ощущение, будто я топчусь на месте, еще чуть-чуть, и все разъедется под ногами...

– Диан, да у тебя депрессуха. Однозначно. Ты когда в последний раз трахалась?

– Нет никакой депрессии. Я смотрю на свое решение трезво и это, честно говоря, слегка пугает. Так серьезно я не хотела чего-то давно. И мне важно, чтобы ты поддержала меня. От мамы понимания не жду, ты же знаешь, ее надо ставить перед фактом. Леша с Колей начнут отговаривать, а шеф опять заведет песню о том, как нам важны проверенные сотрудники в такое сложное время...

– Да уж... Знаешь, какое слово я больше всего ненавижу? «Кризис». Представляешь, вчера Тема мне заявляет, мол, солнышко, сократи немного расходы, положение тяжелое, и в конце как ни в чем не бывало добавляет, что в Аспен на каникулы мы не поедem... Короче, я жутко вскипела, бросила ему все кредитки в лицо, уехала к маме...

– Слушай, Нель, как же ты теперь без денег?

– Солнце, донт ворри, би хэппи! Мастеркардовскую голд я себе, конечно, оставила. Ее заблокировать он не посмеет, зная, что я беременна... Ладно, фиг с ним, ты лучше скажи, когда уезжать собираешься? Надолго?

– Не знаю, когда и на сколько. Но думаю, что скоро и навсегда.

* * *

Мне кажется, в прошлой жизни я жила на море. Однажды я стояла на берегу моря, из степи дул ветер, и запахи смешались – запах моря и запах степи. И я стояла, переполненная острым чувством, будто сейчас что-то вспомню. Будто уже была здесь и могу разложить этот запах на составные части, как будто всю жизнь им дышала...

* * *

Сегодня в небольшом ресторанчике мы праздновали день рождения нашего сейлс-менеджера. Такой «реальный парень» с особенным говором, он не верит в любовь, читает комиксы, носит щетину, не верит в смысл жизни. «Его не надо искать, смысл смыли еще те двое, Адам с Евой. Вся жизнь – сплошные инстинкты, которым люди придают лишний пафос». Мы слушали тост именинника, удивлялись – раньше считали его поверхностным, легкомысленным, уж больно брутальным и настырным. Я даже «идиотом» как-то назвала его, когда он появился в женский туалет, стал приставать ко мне. А вот, как оказалось, он мыслит, может объяснить свою позицию. Но у каждого из нас своя правда.

Все пили, веселились, обсуждали что-то, периодически подсаживались ко мне, экзотической компании, мол, почему грустим, о чем думаем. Стандартный набор вопросов мимолетного сопереживания. Я сразу натягивала улыбку на лицо, отвечала «все путем, просто устала за день» и поражалась тому, как далеко любовь, пусть уже и уходящая в прошлое, отстраняет человека ото всех. Запираешься с ней в себе, оставляя дубликат ключей тому, кто, скорее всего, никогда не придет. И дышишь ею, и перебираешь воспоминания из раздела «вместе», успокаиваешься ими, особенно в дни, когда любовь кажется синонимом диагноза «тихая шизофрения». Не верьте тем, кто утверждает, что настоящая, зрелая любовь безмолвна, мол, только в двадцать обрисовываешь каждое страдание сентиментальными метафорами. Ничего не меняется с возрастом. Переживания остаются прежними, просто с годами устаешь от метафор, еще глубже прячешь чувства в себе, за той дверью, от которой ключи теперь в единственном экземпляре.

* * *

Я стою в пробке на выезде с Тверской. Нелли давно обогнала меня, помахав идеально наманикюренными пальчиками и практически вырвавшись на встречную. Она всегда была такой – легкой, взбалмошной, в какой-то мере ветреной при всей своей практичности в личной жизни. Наверное, в этой ветрености и заключается счастье моей неунывающей подруги.

Мы с ней диаметрально разные. Никогда не смогла бы жить, как она. Нелли умеет сделать так, чтобы мужчина первым долгом думал о ней, а потом о себе. «Из мужчин надо вить веревки, но нельзя связывать эти веревки в узелки. Мужчины – рабы иллюзий, запомни, деточка! Он готов сделать для нее что угодно в обмен на идеально изображенную иллюзию преданности, покорности, любви, страсти, да чего угодно».

Может, во мне что-то не так, но я так и не научилась скормливать мужчинам иллюзии. Ну не умею я, и все тут! Могу быть по уши влюбленной, сумасшедшей, самоотверженной, но никак не покорной. Мне важна свобода. Хотя...

Какой неуклюжей становится женщина, когда она любит по-настоящему. Как быстро слетает с нее самоуверенность, весь лоск самодостаточности. По себе знаю. Когда я только познакомилась с Ильей, я думала, что никогда не улягутся те огромные волны любви к нему, что накрывали берега моего сердца. Я дышала им без кислородных масок, я выводила йодом его имя на своих ранах, я превращалась с ним в снежинки на ладонях, стекающие в ласковом таянии по любимым запястьям. Да-да, все именно так. Сама не ожидала от себя такого сентиментального надрыва, который доселе казался мне прерогативой бабских романов в мягких цветастых обложках...

* * *

Нелли ждет ребенка. Что может быть прекрасней? Новая жизнь от твоей жизни, новый виток надежды. Меня охватывает ощущение потерянных надежд, и я, остановившись на светофоре, переключаю волну радио. Поет Лолита. *«Фразы заразы, мысли зависли, ну хватит, пора домой... Не кури, тебе не идет, не дури, и это пройдет...»* Женщина в печали, в отличие от мужчины, не черствеет, не зарывается в себя. Наоборот, она переносится туда, где тепло, легко, спокойно. Подумать, переждать, просушить крылья. И пусть эти места мужчины-реалисты называют сопливыми сказками. Главное – уметь разглядеть радужные блики даже в самое серое ненастье. Верно сказано, мужчина уменьшает чувства до размеров удовольствия, женщина увеличивает чувства до размеров счастья...

* * *

Существует такое медленное разложение. Оно почти не заметно в повседневности, особенно когда живешь в режиме «утром на работу, вечером с работы». На первый взгляд кажется, что все не так плохо. У тебя есть определенная сумма денег раз в месяц, периодические вылазки с друзьями на волю по выходным, секс со вроде бы близким человеком, одежда приличной марки, какие-то перспективы на будущее. Вроде все присутствует, но есть пробелы. «А у кого их нет?» – утешаешься в редкие мгновения самокритики, успокаивая себя общепринятым позитивным настроем, мол, скоро все станет лучше, терпение и труд все перетрут.

Но какой бы гостеприимной ни была иллюзия успешности, все равно там, где-то между желудком и сердцем, живет, расширяется пустота, наполненная морозными сквозняками. Ей трудно дать определение, о ней сложно рассказать. Ее можно только почувствовать. И каждый раз, по ночам, когда мучаешься бессонницей, границы этой пустоты растворяются, и она обволакивает каждый орган, даже дыхание. Кто-то скажет, что это пустота на самом деле обычное одиночество. «Ну и что с того? Оно есть у многих, если не у всех». На самом деле одиночество здесь не в главной роли. Эта пустота – то, что остается после него... Одиночество часто преобразуется в тихое хроническое и дает обманчивый эффект исцеления.

* * *

Когда-то на задворках юности я злилась на этот город. Мне по-девичьи наивно казалось, что тоска здесь бродит за мною липкой тенью, и те, кто продолжает путь по дорогам Москвы, живут исключительно с тем, что осталось. Я боялась расплескать внутреннюю веру в счастье в сумасшедшем ритме мегаполиса. Чего боялась, то и случилось.

Это самое счастье неожиданно лишилось смысла, обесценилось по вине обстоятельств. Именно их я молча обвиняла, пытаясь преодолеть бессилие перед началом чего-то нового. Но когда ты теряешь что-то важное, у тебя остается два варианта – опустить руки и зачехнуть в паутине сожалений либо преодолеть слабость с неуверенностью и построить все по-новому. Я выбрала последнее. Благодаря бабушке.

Она не читала мне морали, не жалела, не наставляла. Ненароком сказанные истины, и я будто проснулась от туманного сна. «Будь благодарна всем дверям, которые захлопнулись за тобой. Учись переворачивать страницы жизни. Именно переворачивать, а не рвать на мелкие кусочки».

До сих пор, теряясь в сомнениях, я непроизвольно возвращаюсь в детство. Там прячусь, прислушиваюсь к звукам в прихожей: вот вернется с работы бабушка, и с ней можно поделиться, рассказать, она направит, еще и картошечки на сливочном масле нажарит. А потом сладкий чай намешает и уложит в приятно прохладную кровать, проведет рукой по макушке – от тревог и следа не останется. Ее сейчас нет рядом. И этот пробел я ничем не могу и не смогу восполнить. Но именно сейчас те бабушкины слова всплывают на поверхность памяти, убеждая в правильности принятого решения.

* * *

– И что тебе не сидится на месте? Вечно чем-то недовольна. Вся в отца! Как же я от вас устала...

– Мам, может, ты прекратишь, а? Я уже взрослая женщина, мне не пятнадцать, я сама отвечаю за свои поступки.

– Люди работу найти не могут, держатся за место, а моя дочь с жиру бесится. Видите ли, ей жизнь изменить хочется. Ты лучше бы деньгами матери помогала, неблагодарная!

– Мам, я и так часть своей зарплаты вам отдаю. Кто неблагодарная, так это ты.

– Замолчи, дрянь! Я из-за тебя всю молодость угробила. Терпела твоего отца-тряпку, чтобы, видите ли, моя дочь росла в полноценной семье, не чувствовала себя обделенной... Знаешь, лучше бы ты не приезжала. Уехала бы к черту на свой Восток, ничего не сказав. Ты всегда была неблагодарной. Я тебя родила, дала тебе жизнь, а ты за бабкой вечно таскалась...

– Все, больше ни слова. Ни слова, слышишь, ни слова! Дай мне еще пять минут, я заберу вещи, уйду отсюда. И ты сможешь вздохнуть спокойно... Мне жаль оставлять отца рядом с таким обозленным человеком. Как он терпит все это? Я тебе дам денег, только выполни одну мою просьбу. Не выговаривай папе то, что не договорила мне. Сколько тебе надо? Десять, двадцать тысяч? Ну, говори, сколько...

– Убирайся. Немедленно. Быстро. Вон отсюда, вон! Не заставляй мне вызывать милицию.

– Не беспокойся, я сама уйду.

Выхожу из подъезда. Оглядываю двор, в котором выросла. Никакой ностальгии. Что-то далекое и уже не такое близкое, как раньше. Сажусь в машину, закуриваю, даю волю слезам. Ключ в зажигание. Автоматически включается радио. *«Не бери себе в голову, Земфира, не бери. Прогоняй ностальгию мимо дымом в потолок...»*

* * *

Выезжаю из Подмосковья. Моросящий дождь, напоминающий пудру, сменяется солнцем. Серые тона раскрашиваются светлыми красками. Меня здесь больше ничего не держит. Город? Он навсегда останется так же загадочно любим. Папа? По-прежнему буду пересылать им деньги, главное, побыстрее устроиться там. Друзья? Если они действительно настоящие друзья, желающие мне счастья, они поймут, поддержат. Любимая квартира? Сдам ее друзьям Нелли, молодой гей-паре, недавно познакомилась с ними. Вроде скромные, тихие люди, творческие натуры, архитекторы. Деньги с квартиры придутся там кстати. Осталось определиться с датой отъезда...

Небольшой город на берегу Средиземного моря. Маленький одноэтажный домик в двадцати минутах от берега, сад из двух соток. По правую сторону от моего нового жилья оливковые рощи. Приемлемая цена. Хозяйка – месхетинская турчанка, понимает по-русски, я вышла на нее через знакомых риелторов-международников. Сначала дом буду снимать, потом планирую выкупить.

Ласковый климат, другие люди, фрукты-овощи круглый год, много свободы. Через Интернет вышла на разведку. Там нужны финансисты со знанием английского, русского. Я уверена, будет нелегко, все-таки начинать новую жизнь в тридцать требует троянской храбрости. Ведь характер с годами усложняется, труднее подстраиваться под людей, заводить новые знакомства. Но я готова. Мне не страшно. Скоро первый день моей свободы. Второй свободы третьего десятка жизни...

* * *

Я просыпаюсь раньше звона будильника. С вдохновляющим осознанием того, что сегодня мне не идти на работу. Вчера написала заявление об уходе без капли сожаления. Зашла к директору, положила на стол бумагу, попросила подписать. «Так в чем же истинная причина твоего ухода, Диана?» Я не стала рассказывать о своем отъезде, чтобы снова не выслушивать уговоры, заявила с улыбкой на лице: «Я решила начать жить заново». Директор посмотрел на меня как на сумасшедшую, ухмыльнулся и пояснил свою усмешку: «Да уж, кризис здорово повлиял на психику людей...» Заветный росчерк получен. До первого дня свободы еще меньше времени...

Вспоминаю время, когда я желала измениться до неузнаваемости. Не на физическом уровне. А чисто внутренне – но с наружным проявлением, конечно же. Мне хотелось стать сдержаннее, молчаливее, циничнее в выборе того, что собираюсь выразить. Перешагнуть собственную уязвимость, спрятать ее за спиной, как букет голубых гортензий. Будто я не та женщина с излишне чувственным сердцем, потрескавшимися надеждами и большей тягой к поиску не шаблонного, а именно *своего* идеала. Я понимала, что стать другой быстро и кардинально – значит сделать самый решительный шаг. Но всегда трудно оправдать острую необходимость того, что не кажется самым важным в жизни...

Встаю с постели, подхожу к окну. За ним уже бурлит Москва, вопреки слякотной погоде. Самый искренний, прямолинейный город на земле. Я уверена, что еще не раз встречу с Москвой, хоть и решила пожить вдали от нее. Она ни в чем не виновата. Это все я, это все мое, внутреннее. Начну жить заново там, где к каждому закоулку, улице, парку не прикреплен файл из воспоминаний.

Это не побег от прошлого. Это, скорее, желание не отравлять окружающих людей тяжелым видом личных язв. В какой-то из книг Гришковца есть строки о человеке, чувствующем, как его с трудом выстроенное ощущение жизни, к которому он долгое время шел, неожиданно уходит из-под ног, улечивается туда, откуда сложно вернуть эту жизненную основу. У меня аналогичное. Наверное, кто-то под стать моей матери назовет меня зажавшейся эгоисткой. Плевать. Я слишком много думала о ком угодно, кроме себя. Пора «приобщиться к собственному безумию, не сходя с ума бесповоротно». Надеюсь, моя заявка на новую жизнь будет принята...

Завариваю себе зеленый чай с щепоткой чабреца. Отрезаю себе кусочек пирога из темно-бордовых слив. В любимой желтой пижаме с любимой большущей кружкой в руке хожу по квартире, рассматриваю знакомые предметы. Взгляд застывает на нашей с Ильей фотографии в синей рамке. Резко открываю ящик комода, толкаю ее туда. Я прощаюсь с воспоминаниями, связанными с тобой. Немного стыдно за это. Пытаюсь смягчиться, разомкнуть ржавую цепь вокруг мыслей, чувств – бесполезно.

Женщина способна пожалеть до тех пор, пока ее чувства не остыли. Если это произошло, то она начнет искать свободу в другой степи, где, быть может, солнце не такое нежное и родник отыскать сложнее сложного. Но она будет терпеть, идти по новому тернистому пути и, наверное, разок-другой оглянется назад, вздохнет с тоской в порыве воспоминаний, но

нет, не вернется. У женской решительности лезвие острое, безжалостное даже по отношению к себе...

Пора собираться. Съезжу за расчетными, потом – за билетами.

* * *

Спустя полтора года

Под взбалмошным майским ветерком лепестки цветков абрикосового дерева осыпаются на спящего в саду Дона, покрывая его коричневую лабрадорову шерсть нежно-розовым пятнышками. Запах наступившей весны пьянит, и дышится так легко, словно небесный ковер над головой как следует выбили на утреннем снегу. Я нахожусь там, где никогда не думала оказаться. Восток. Город с лазурной набережной и плантациями фейхоа...

Пью горячий шоколад с корицей на веранде и вот-вот закурю первую сигарету нового дня. Дышу чистой свободой. Наконец-то. Сейчас я впитываю в себя то, что обычно упускаешь из виду. Оттенки моря в ветреную погоду, звон пчелиных крылышек, отражение маленьких кусочков большого мира в радужных переливах мыльных пузырей, бархатистость томатных листьев, уютное шуршание любимой подушки под головой, улыбку невзначай от незнакомого человека, аппетитный хруст корочки вишневого пирога в первом надкусе, потрескивание маслянистых черных семечек на старой чугунной сковороде. Я и раньше ценила маленькие прелести жизни, но тогда, в московской суете, ощущения теряли остроту. Казались не такими объемными, как сейчас. Да и тогда у меня был совсем иной мир, сосредоточенный в сердце одного-единственного человека...

Сейчас мой мир разделился на два полушария. Из прошлого и настоящего. Они вполне гармонично сосуществуют в каждом дне без заявок на будущее. Живу мгновениями, а не днями, неделями, месяцами. У мгновений нет сомнений. В мгновении не хочется считать, рассчитывать, пересчитывать. Все как есть. Это меня устраивает. И обжору Дона тоже, который вот-вот проснется от аромата свежее испеченных булочек с инжирным джемом...

Лариса Бортникова

Стамбульские хроники, или О серьезном с юмором

Первый мой Новый год в Турции я ждала очень сильно. Это для меня было что-то вроде спасительного островка. Что-то нормальное и привычное внутри незнакомого (я тогда там всего месяцев четыре-пять пробыла) пугающего мира. Все эти чужие реалии, которые толпились вокруг меня, давили, уничтожали своей непререкаемой уместностью, мешали дышать, обязаны были отступить ровно в двенадцать с 31 декабря на 1 января. Я в это верила.

Я верила в Новый год. Потому что Новый год – это вечное и незыблемое. То, что есть везде и всегда. И в Стамбуле, и в Шанхае, и в Москве.

Вот, думала я, буду пить шампанское и жевать горошек, словно всегда. И весь мир будет пить шампанское и жевать горошек.

Ну, разумеется, я знала, что далеко не весь мир претя от полусладкого и вареной картошки под майонезом. Но мой-то, мой московский далекий мир претя! И в эту ночь на первое января, отпивая глоток шипучки и ковыряя вилкой в салате, я буду снова как будто дома, вместе со всеми.

Как раз в тот Новый год вопрос одинокого – неодинокоего встречания меня беспокоил меньше всего. Больше всего меня тревожило то, где я найду: а) вареную колбасу; б) сметану, которую обычно добавляю в салатную заправку; г) настоящее советское шампанское; д) елку; е) снег.

Тридцать первого утром я решила, что это не так уж важно. Что курица, просто майонез и местное шампанское странного цвета и вкуса меня вполне устроит. Вместо елки вполне пойдет можжевельниковый букетик, что я неделю назад приобрела в лавчонке напротив, а снег... Да и хрен с ним, со снегом!

Плохо было то, что мы тогда 31-го работали. Полный день, между прочим. Что русскому Новый год, турку всего лишь повод выпить чашку пива. Я про среднестатистических турок, потому как бывают шалуны, похлеще нас новогодье отмечающие, а бывают и такие, что при виде игрушечного Деда Мороза плюются и шепчут слово «шайтан».

Отвлеклась. Так вот я позвонила своему туркомужу и озвучила ему перечень необходимых продуктов. Отработав, добралась до дома, привела холл в порядок, воткнула можжевельник в вазочку и стала ждать прибытия ингредиентов для «праздничного стола».

– Слушай, я пиво купил. Ну его – шампанское это. Оно у нас плохое тут, а которое хорошее – дорогое, – с порога заявил муж.

– Как? Как пиво? Зачем пиво? – вытаращила я глаза.

– А какая разница? – он пожал плечами, стал разуваться.

Понимаете, да? Для него действительно разницы не существовало. Пиво ли? Шампанское ли? Водка ли? Он же не слышал с самого детства, как звенит новогодний хрусталь. Он же не видел ящиков с бутылками на балконе, не смахивал с холодных темно-зеленых бочков снег. Он не знает, как должна «стрелять» пробка и когда нужно разливать, чтобы успеть ровно к последнему «бомммм».

Я стояла, отвесив челюсть до полу, и точно знала, что человека винить нельзя. Он ни обиды моей, ни огорчения, ни злости, ни воплей, ни слез просто не поймет. Мимо! Примерно так, как мне не понять его восторженных глаз при виде свежего профитроля, что подают в любимой кондитерской Ататюрка на Истикляле¹. Я стояла, дрожала губами и думала, что пропал мой Новый год, и все тут.

¹ Улица Независимости, популярное место в историческом центре Стамбула.

– А курицу купил? – безнадежно выдохнула я.

– Купил! И майонеза. А яиц не купил. Не люблю я салат с яйцами. Воняет. Давай без них сделаем. И огурец соленый не надо.

Ааа! Оливье без яиц и без огурцов, это, извините, какая-то безвкусная турецкая фигня. Но он-то этого не знал. Ему просто не нравилось с огурцами и яйцами.

Я пошла на кухню и, сглатывая слезы, принялась резать то, что есть. И варить то, что принесли. И делать картошку фри... Как будто люди на Новый год обязательно едят эту дебильную картошку...

Мы поужинали. В девять вечера под Новый год мы поужинали котлетами, картошкой фри и салатом оливье без яиц и огурцов. Да люди нормальные в этот час только-только за стол садятся.

Потом я помыла посуду. В десять. Под Новый год. Ага.

Потом туркомуж достал бокалы, пиво и сел перед телевизором смотреть какое-то турецкое, довольно, кстати, новогоднее выглядящее шоу. И орешки грыз. В шортах и футболке. И я тоже села. В шортах и футболке.

И вот пока весь мир в смокингах и вечерних платьях гулял среди наряженных елок, пока снежок хрустел под их лакированными туфлями, пока шампанское искрилось в хрустале, а черная икра таяла на языках, пока вареная колбаса идеально сочеталась с вареной морковью, яйцами и солеными огурцами... я грызла орехи и пила пиво.

Ну не ужас ли? Ужас!

Меж тем стрелка неумолимо близилась к одиннадцати, то есть двенадцати по Москве, а лицо мое то и дело перекашивала гримаса нестерпимой душевной боли.

– Ой. Что это? – туркомуж пялился куда-то в сторону закрытой двери.

– Что?

– Ну там, ну вон...

Я повернулась, пригляделась, ничего не обнаружила и собралась сообщить туркомужу, что он слепой и тупой верблюд, и тут... на столе бутылка шампанского. И не какой-то турецкой гадости, а нашего, полусладкого.

– Ааа. Откуда? – вытолкнула я из себя вместе с изумлением.

– Атвирблүта, – сказал туркомуж и гордо (вон он как по-русски-то может) задрал подбородок. Учítывая то, что минуту назад я готова была обозвать его этим «вирблүтом», он вполне попал. Ну и с сюрпризом попал, че уж теперь грешить-то.

Теплое оно было, правда. В холодильник поставить не догадался. Турок, что с него взять. Но зато с пузырьками, как положено. И с хрустальным звоном. А «бом, бом, бом» я отбомкала сама. Туркомуж понимающе промолчал – не стал своими басурманскими «бомками» похабить святое.

Он, оказывается, заранее какого-то мужичка нашего аэрофлотского, своего товарища, попросил мне бутылочку одну отложить. Молодец. А вот с огурцами, конечно, обидел. Обидел, да. И мог бы костюм надеть – не сломался бы. А то весь мир в смокингах, бабочках и с огурцами, одна я, как дура, в шортах.

А пиво мы через час на турецкий Новый год допили. Туркам же все равно. Новый год это или просто так. Тупая пивная вечеринка.

* * *

С турецкой свекровью общаться мы начали робко, странно и совсем дико, по телефону. Жили мы еще в Москве, до земель басурманских не добрались, но статус мой «полужены – полуневесты» уже требовал периодических бесед с будущей «мамой». Раз в неделю муж турецкий совал мне под ухо трубку и свистящим шепотом суфлировал: «Скажи так... скажи

сяк... наперекосяк». Поскольку знания чужого языка жестко лимитировались фразами «превед, какдила, ятоже» – суфлер был необходим. По-видимому, свекровь решила, что я девочка молодая, глупая и турецковладеющая.

Про первое и второе – не ведаю, с третьим свекровь ошибалась. Смысл произнесенного по телефону от меня скользенько так ускользал и вообще, боялась я ее до жути! А вы бы не боялись. На фотке, что муж показал мне в начале знакомства, на широком балконе стояла хмурая и серьезная женщина, седая, коротко стриженная, с поджатыми губами, пронзительным взглядом. Ни намека на улыбку, ни капельки радости в чернящих глазах. И руки такие крупные, очень мужские, и нескладная фигура. Голос в телефоне звучал глухо, неприязненно, снисходительно. Я себе казалась эдакой навязчивой мышью, которую готовы принять исключительно в целях потакания капризу ребенка. Возможно, так оно и было.

Таким вот странным образом невестко-свекровились мы около года. Еще мы обменивались сувенирами: она слала цветные носки, благополучно пихаемые мною в нижний ящик шкафа навечно, я направляла ей различные чашечки-баночки с видами Москвы. Кстати, впоследствии я их нигде не обнаружила, наверное, тоже ушли «в сад», или просто передарились соседям.

А потом грянул час икс, мы собрали чемоданы, и я, прихватив белого синеглазого котейку, что тогда у меня столовался, штампанула визу в паспорт и...

Три часа в самолете, полтора в такси от аэропорта до дома я жутко переживала. Если бы не горячительные (слегка) средства, я померла бы со страху. А так выстояла... И вот, прижимая к груди котейку, я вылезла из тачки. Ох, не до красот Царьградских было девке. Ох, не до морских-рыбных-мидиевых ароматов! Ох, не до чего вообще!!! Кто знакомился с будущими мамами, папами – поймет... Моя ситуация усугублялась до уровня критического. Кстати, фразу «добрый день, как дела, рада вас видеть» я вызубрила до автоматизма. Помимо этого существовала еще одна этическая проблема. Рука...

Турция – нерусская страна, между прочим. И там положено старшим и уважаемым людям при встрече руки целовать. Подносишь ладонь тыльной стороной к губам, чуть касаешься, а затем ко лбу подтягиваешь и лбом туда тычешь тихонечко. Знаю, что многих русских девушек, в ситуации, аналогичной моей, оказавшихся, отчего-то этот ритуал смущал. «Да штоб я чужие грабли целовала!» – орали они и топали ногами. Меня как раз целование граблей не травмировало, даже любопытно было. И ничего коробящего душу я в этом не углядывала и не углядываю. Ну, принято так. И хорошо, кстати, принято. Большая это радость, пожилому и доброму человеку показать свое уважение. Хуже того, я после проживания там вполне комфортно совала свои ладошки в морды младшим по званию. И пусть попробуют не поцеловать!

Отвлеклась, однако... Так вот, меня, дурочку эдакую с котишкой синеглазым, с сумкой через плечо, и глазенками напуганными, тогда очень сильно страшило, что я неправильно это сделаю. Ну да, тренировалась! Так ведь это ж должно внутри быть. Оно репетициями не достигается. Это генетически заложенный жест. Своего рода полурефлекс...

И вот стояла я возле такси, смотрела, как копошится муж, извлекая вещи из багажника, разглядывала с ужасом мою золовку, что сновала туда-сюда в дичайшей эйфории, и тряслась от страху!

«Здравствуйте. Как дела. Рада видеть», – турецкие крокозябры вертелись мельницей в моей башке. «К губам, ко лбу, чуть касаясь, чуть нагнув голову», – повторяла я про себя, пальцы дрожали все сильнее и сильнее, а мальчики в глазах наливались кровью, словно клопы.

Мы стали подниматься наверх. Пролет. Еще один. Котейко урчал звонко, или это у меня в пузе урчало. Полутемный коридор, три шага направо, поворот. И проем. Дребезжит лампа, мигает желтым. В проеме силуэт. Силуэт темный, грозный, как крейсер «Аврора», –

не меньше. Золовка проскальзывает внутрь проема, мой муж турецкий склоняется почти-тельно, делая рукоцелование, и тоже отходит в сторонку... Еще полшага... Где мой желудок?.. Котенку муж у меня забрал, даже не заметила как... Лицом к лицу, глаза в глаза. Тем-ные, умные, строгие, оценивающие...

Мне следовало полупоклониться, взять протянутую сухую и крупную руку, пропах-шую хлоркой и сигаретным дымом, и произнести зазубренные крокозябры. И шайтан ли, а может, и не шайтан вовсе, словно стукнуло меня кулачищем в спину. И я опустила, уже готовые к лботыканию руки-крюки свои, сморщилась мордочкой и раз-ре-ве-лась. Ревела и без крокозябров, на хорошем турецком (откуда он взялся?) хлюпала: «Вот я и приехала. Приехала я. И все... И никого у меня тут нет, кроме тебя... Мама... Anne... Anne». «Anne» – так по-турецки звучит слово «мама». Оно само сказалось. Не надо было ломаться, просить разрешения, мучать себя и эту чужую женщину. Сказалось. И она обняла меня, и я еще пуще разревелась. И мы стояли на пороге, вытирая друг другу слезы.

Мы потом часто вытирали друг другу слезы, чаще, чем это следует делать невестке и свекрови. И я никогда, ни разу, произнося нерусское «анне», не думала, что это нерусское... Мама. Моя старенькая турецкая мама, седенькая, больная диабетом, уставшая, любимая.

А вы говорите, свекрови...

* * *

Я когда туда только приехала, в девяносто пятом, кажется, году, очень всего шугалась. Оно и понятно, девушка я была довольно-таки юная, на удивление пугливая, да еще и бере-менная. Тогда все друг на друга наложилось, и оказалась я на Царьградских просторах вся такая трепетная, бессловесная, с мыльными пузырями в мозгах. Понятно, что ни красоты стамбульские, ни экзотика пейзажей, ни восхитительная дешевая жрачка и барахло ни грам-мулечки меня не радовали.

Да еще и родня турецкая, ну, сам супруг и его всякие мамы, сестры, братья и прочие, совсем девчонку, то есть меня, затюкали. «Туда не ходи! Сюда не смотри! Этого не тронь!»

Существовала еще одна беда, усугублявшая все прочие, – я волей Аллаха попала в самый что ни на есть консервативный район Стамбула, где процент завернутых в чаршаф² теток на единицу населения превышал собственно само население. У нас в квартале на улицу с непокрытой головой выходить нельзя было – почти что пальцем тыкали. Вообще-то я – девка лояльная, и мне по большому счету во избежание конфронтации маленько себя подна-гнуть не сложно. Но тут как-то даже моя лояльность и пиетет ко всяким там культурно-исто-рическим и конфессионным заморочкам не срабатывали. Ну, не знала я – элементарно знать не могла всего, что требуется знать настоящей турецкой ханым³, посему ляпы случались ежедневно, невыразимо огорчая правоверную родню и соседей.

А я, как назло, в ляпистые ситуевины залетала по самые уши. То в кофейню мужскую зайду пописать (беременных-то как прижмет, не удержишь), а в кофейне все соседушки муж-ского полу сидят и на меня зыркают в ужасе, мол, баба и здесь! То по-простому с бакалей-щиком забеседую, да так, что потом его жена к свекрови моей жаловаться прибежит, мол, аж целых десять минут они были один на один в пустой лавке. То во время намаза в комнату загляну за книжкой и всех распугаю...

Однажды к нам ходжа должен был прийти. Ну, «к нам» это сильно сказано. Тетки квар-тальные собирались молитву на Кандиль⁴ замутить, посему ходжу призывали. Понятно, что

² Женская мусульманская одежда, свободная накидка, скрывающая волосы и все тело.

³ «Госпожа», почтительное обращение к женщине на Востоке.

⁴ Общее название нескольких религиозных праздников у мусульман.

ходжа сам по себе, в отдельной комнате, молящиеся женщины – сами по себе. Но предварительные беседы, финансовые переговоры и «чай-кофе-потанцуем» свекровушка моя на себя брала. А потому предварительно она приобрела для ходжи необходимые для действия причиндалы: полотенчики там, коврик для намаза и шапочку такую специальную, крючком вязанную. Шапочка эта, лежавшая для сохранности на комод в нашей спальне, мне безоговорочно глянулась. А что? Экзотический хэндикрафт! Я ее повертела, примерила, покрутила так-сяк, а потом, выяснив, что на мой шестидесятый размер шапайка не налазит, я ее нахлобучила на мужнину племяшку – красавицу трех лет от роду. Девушка черноволосая, черноглазая, а скуфейка из белой нитки и крахмалом эдак сочно «хруст-хруст» делает... Гюльке (племяшку так зовут) тоже этот хэндикрафт по душе пришелся, ну она и ринулась всем хвататься...

Очумелые бабы, радостный ребенок, недоумевающая я (а действительно, чего такого-то?) и хитроглазый мусульманский поп, хихикающий в кулачок. Он бы и в голос бы, да постеснялся перед женщинами... Ну понятно, все сообразили, чьих это неверных рук дело, разъяснили мне, бестолковой, что да как, зачем сей головной убор нужен и отчего его трогать не стоило. Послали мальчика какого-то за новой ермолкой, а меня устыдили. И еще недели две шептались за спиной: ишь ты, гяурка позорная! А ехидней всех шепталась, прямо-таки шипела гадюкой, тетка Хатидже.

Есть у нас такая в квартале – Хатидже-тейзе (тетя по-ихнему), старенькая, сухонькая – червивая сыроежка. Блюдет Хатидже-тейзе общеквартальные добродетели, отслеживает неправильные шаги местных жителей, а затем разносит сплетни по закоулочкам. Сама Хатидже-тейзе, как и случается обычно, в юности особым благочестием не отличалась, сменила трех мужей, причем последний был лет на восемнадцать ее моложе, развела детишек штук семь, а овдовев, ударилась в благолепие и тотальную порядочность. Ну нормально! А чего не вдариться-то? Возраст позволяет... Страшный человек – тетка Хатидже. Попасться к ней в списочек неблагонадежных – смерти подобно. Ну, я и попалась! Прям с разбегу и на самую верхнюю позицию. И наступило мне горе, а тетке Хатидже тема для долгих бесед за чаепитием. Всех деталей не знаю, но большинство до моих ушей донесли прочие квартальные сплетницы, не столь увешанные регалиями благочестия, но такие же любительницы почесать языком. Ух, сколько на меня вылила, скольким меня обмазала милая турецкая бабушка Хатидже!

Но шло время. Мой рейтинг медленно и неуклонно рос, сплетен вокруг Лале (так меня стали называть впоследствии) становилось все меньше, а уважительное «ханым» в мой адрес звучало все чаще. Понятно, что частично я являлась эдаким квартальным экзотическим зверьком, на которого и поглядеть не грех, и похвастаться перед родственниками деревенскими можно. Но частично, процентов эдак на семьдесят (так думаю!) очень я там даже оСВОИлась... Ну точно по этимологии глагола «освоиться». Хатидже-тейзе, как вы догадываетесь, сдала позиции последней. Выжав еще капли две-три дерьмеца, оставшегося на донце, этот сосуд добродетелей заткнулся. И тетка Хатидже начала так осторожненько, потихонечку, шепотом меня любить.

Она еще сама не врубилась, что из ненавистной гяурки я вдруг стала такой беззащитной и глуповатой «кызым»⁵, но я-то видела... И когда по пути домой мы однажды случайно столкнулись, и она, движимая черт знает чем, накормила меня восхитительно-зеленой сливой, купленной на рынке... О да!!! Расстройство желудка – фигня по сравнению с довольной беззубой улыбкой доброй старушки.

И однажды наступило воскресенье. Ну, воскресеньям это свойственно – наступать. Я дома сидела, а муж куда-то с дитем направился. Выпив кофейку, покурив, почесав в затылке,

⁵ Дочка (турец.).

я оглядела гору бельишка на глажку и опять налила себе кофе. И тут – дзынь! Звонок! Я к глазку припала и моментально маленько взбесилась. Есть у этих турецких дамочек свойство – являться вот так вот, без предупреждения.

Хатидже-тейзе, завернутая в тяжелый плащ, с низко опущенным на лоб платком, переминалась с ноги на ногу по ту сторону двери.

Вообще-то можно было не открывать. Вру! Не открыть было нельзя. А то она не сообразила, что я дома, и одна. У ней же задача такая, кредо жизненное – сидеть у окна и зырить, кто и куда пошел... Я вздохнула тяжело, радостно улыбнулась и потянулась к замку...

– Кызым, – тетка Хатидже как-то необычно заговорщицки смотрела на меня, разве что только не подмигивала, – вот пришла...

– Ой! Добро пожаловать! – заорала я с принятыми в таком случае эйфористичными интонациями. – Проходите, будьте как дома...

– Да нет... Я на секундочку... – она вся так дергалась, я даже подумала, может, помер кто...

– Проходите, будьте как до... – и заткнулась. Тетка Хатидже протягивала мне мешочек полиэтиленовый.

– С праздником! – гордо и очень радостно произнесла она. – С праздником...

Праздник по-турецки «байрам». Короче, она поздравляла меня с каким-то байрамом. Я аж испугалась. Как? Тут, выходит, байрам, а я не в курсе. Ну все, опять склонять меня будут в разных направлениях... Пакетик я, однако, взяла, уж больно настойчиво она им в меня тыкала.

– Ты разверни. Разверни... – на лице у тетки Хатидже плавала такая умиротворенная, почти счастливая ухмылка. Ну словно она миллион выиграла в лотерею или благодать какая сверху снизошла.

Деваться было некуда, я развернула пакет.

Знаете, что было внутри? Там лежало два крашеных яичка и кусочек пасхального кулича. Байрамом оказалась Пасха. Наша православная Пасха. Понятно, что я и в Москве-то узнавала об этом от мамы день в день, а в Стамбуле... Ну не знала я! Ну совсем не знала...

А старая тетка Хатидже, для которой слово «пасха» почти то же самое, что и «шайтан», узнала. Спросила армянку, что живет возле домушки квартального старосты. Мало того. Она пошла, сама пошла в армянскую церковь и взяла там для меня эти яйца – одно малиновое, одно зеленое с рыжим боком, и кусок кулича. Она это сделала, потому что хотела, чтобы у меня был байрам. Она полагала, что мне это важно. И оказалась права...

Я не могу даже предположить, как ей надо было поломаться, этой старушке, чтобы все это сделать. Но она такая вся довольная стояла на пороге и глядела, как я эти яички трогаю пальцами. И я ее расцеловала! Кажется, даже расплакалась...

Вот тебе, бабушка, и Пасха!!!

Померла она в прошлом году – Хатидже-тейзе.

* * *

Зехра-тейзе живет на самом краю квартала. До ее дома надо сперва карабкаться вверх по холму, потом налево, еще раз налево, а возле будки квартального старосты направо. Там три шага до баккала⁶... Дом под ржавой крышей.

– Зехра-тейзе, как дела? – кричать надо громко, у нее беда со слухом, а слуховой аппарат она сломала.

– А? Это кто? А? Лале?

⁶ Bakkal (турец.) – бакалейная лавка.

Она поднимается из кресла тяжело. Словно не она еще года три назад порхала синичкой по саду. Постарела наша Зехра-тейзе. Скукожилась. Но все равно видна некрестьянская высокогрудая стать. Все равно всякому, кто хоть пять минут поговорит с Зехрой-тейзе, станет ясно, что все эти длинные юбки, платок на лоб и пластиковые шлепки на босу ногу – нелепый карнавальный костюм. Костюм шутихи, зачем-то надетый королевой.

Зехра – королева нашей махалле⁷. Королева мать. И высокий лоб, и взгляд ласково-уверенный, но не высокомерный, и движения плавные, размеренные... И вся она будто и есть земля, и небо, и море, и чайки, и все наши дома-домики-домушки, до самых бетонных внутренних пропахшие печеным перцем и рыбой-гриль.

– Зехра у нас королева, – улыбается моя свекровь, глядя, как старушка перебирает тонкими пальцами фасоль. – Даже фасоль лушит по-королевски.

– Ага. И красавица! – соглашаюсь я.

– Чего? Чего ты говоришь, Лале? – переспрашивает, улыбается чуть стеснительно, но все равно лучезарно Зехра-тейзе.

Сегодня мы принесли ей фасоль. Завтра рыбак Хикмет принесет ей рыбки. А после завтра Фатма уберется у Зехры-тейзе в доме, сварит супу, а то и накрутит долмы. Квартал бережет свою престарелую порфиноносицу.

– А что ж у нее родных-то нет никого? – спросила я еще давно, когда была здесь совсем чужой и задавала много глупых вопросов.

– Дочка... Дочка Гюль была. Так умерла еще лет семь назад.

– А больше не было детей, да?

– Как не было. Четыре сына у нее есть. Все живы-здоровы. Двое в офицеры подались. У одного фабрика своя. Четвертый художник. Да ты спроси сама, она фотографии любит показывать.

– А чего же...

И вот тут собственно и начинается история про Зехру, которая совсем недолгая, но жалостливая.

Зехра родом вовсе не из нашего угла, она с самого Бейоглу – центрального района Стамбула. Полковничья дочь, умница, красавица, выпускница французского женского лицея. Она из тех девушек-аристократок, про которых снимали удивительные фильмы. Фильмы, где турецкие девушки выглядят как безбашенные француженки, одеты в умопомрачительные мини и туфли на платформе, умеют менять резину на личных «фордиках» и прекрасно играют в теннис.

И это не вранье. Стамбул эпохи Ататюрка и Иноню ничем не уступал европейским столицам. В центральной его части, разумеется. А чуть поодаль гнили типично азиатские окраины, нищие и убогие, перетекая в центр столицы с кинотеатрами, кофейнями и витринами, на которых бесстыже улыбались манекены. Там неграмотная нищета рабочих районов – тут высокомерная аристократия, наглая богема. Там туберкулез, голод, истовая вера, черные в пол чаршафы, а тут твист и мини...

Юная Зехра носила мини. И шпильки. И боа. Она показала мне свою фотографию, вытащив ее из потайного уголка, где-то за холодильником. С фотографии на меня смотрела очень молодая ухоженная дама. Любопытно, что фотография была обрезана с двух сторон. Я не стала спрашивать, кто остался там, на обрезках. Я уже знала, что произошло. Уже знала, почему некогда роскошная леди в боа сейчас сидит передо мной и лушит фасоль, вместо того чтобы путешествовать по Европе.

⁷ Mahalle (турец.) – квартал, район.

В семнадцать лет с согласия родителей Зехра вышла замуж. Разумеется, за военного. Переехали в Измир, где супруг служил в штабе. Брак оказался удачным, Зехра – плодотворной. К двадцати трем годам у нее по дому бегало аж четверо сыновей.

– Хорошо жили. Много путешествовали. Я любила в Париже отдыхать. Возьму старшенького, а мелких с няней оставляю. А то и всех возьму. И в Париж. – Она пытается вспомнить что-то по-французски. Ее лицо краснеет, лоб морщится, хотя куда уж больше. Зехра-тейзе и так похожа на перезревшее яблочко.

Год, другой, третий. Что может рассказать о жизни женщина, счастливая в браке? Что она может о ней знать? Пеленки, детские утренники, насморки, ветрянка у среднего, сломанная ключица у младшего, плесень на сливовом варенье, моль в шкафу, дурная нянька, непослушная горничная. Она жила иначе, словно черноволосая и черноглазая Барби в своем игрушечном домике в Измире.

Потом муж получил новое звание и повышение. Вернулись всей семьей в Стамбул, купили виллу у Босфора. Дети пошли в новую школу. Младшие дети. А старшему уже было лет шестнадцать, и он уже два года как учился в том же Стамбуле в военном лицее (ну вроде нашего Суворовского училища). Приходил домой в увольнительные. Обнимал мать крепко, она гордилась: «Вот ведь какой медведь стал, а был кроха крохой».

А потом как-то в один день старший привел в дом на обед товарища. Мальчик учился курсами двумя старше. Был он сиротой. Отец погиб где-то на востоке, почему мальчишку и взяли в военный лицей. Так бы он туда ни в жисть не попал – не того полета птица. А тут вроде как «сын героя», вот и прошел без связей, нудных собеседований.

Зехра мальчишку пожалела. Покормила как следует, пригласила еще раз в дом. И еще раз, и еще. Уже не только вместе со старшим сыном, а просто «ты заходи, когда в городе окажешься». Так началась их почти «братско-сестринская» дружба, и разговоры до поздней ночи, и улыбки, и взаимопонимание, и неведомо откуда всплывшая нежность...

Короче, история сериального качества. Потому что так оно случилось, что в один из приходов Мустафы (так неромантично его звали) Зехра сама не сообразила, как согрешила. А чего? Муж постоянно в разъездах, женщина она красивая, в соку, а тут здоровый юнец с обожанием в карих глазищах.

Короче, «я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной»...

Смешно вообще-то, если б не любовь. Влюбилась Зехра. Вот ведь оказия. То есть сперва просто пожалела, а потом ухнула с головой, высокой прической и ушами, в которых звенели золотые серьги, подаренные супругом на день рождения.

И понеслась душа в рай. Зехра сразу решила, что ничего от мужа утаивать не станет. Вспомнила, что «дочь полковника» и что негоже ей лгать и изворачиваться, поняла, что жить с такой тайной не желает, а без Мустафы тем более. И написала Зехра мужу письмо, где в подробностях рассказала что и как...

Муж вернулся с редутов своих худой, ошалевший. Желал объяснений. Обещал «простить и забыть», но она уже чемоданчики собрала, туда боа с туфлями покидала и только ждала, когда можно будет выйти за порог.

Я вообще так легко рассказываю, потому что мне так свекровь моя все поясняла. Только когда я вижу, как Зехра гладит пальцами фотографии своих сыновей, мне кажется, что не все так радужно происходило. Кажется мне, что непросто было такой вот карамельной женщине оставить мужа и детей и всю свою жизнь перечеркнуть напрочь.

И уйти непонятно куда. За любимым.

А ведь ушла. Они поселились в домике, принадлежавшем его покойному отцу. В том самом домике на краю нашего квартала. Поселились и немедля стали кварталом презира-

емы, потому как покусились на общеквартирный порядок – намус⁸. Что сплетни и пересуды! Дом закидывали гнилыми овощами. Женщины выливали к его стенам помои, а мужчины плевали на стекла.

Зехра мыла стекла, покрывала голову платком, потому что в нашем квартале вся эта божемная мода до сих пор считается делом не слишком хорошим. А тогда и подавно.

Мустафу из лица немедленно исключили. Он пошел на завод, чтобы прокормить себя и любимую. Любимая сидела дома.

Изредка она выходила и быстро, пряча лицо, бежала на остановку. Ехала куда-то в центр. Видимо, поглядеть на детей, выпросить у них прощения. Они же ее проклинали. Все и сразу. Всем расчетом. Отец сказал «проклинаю», сыновья повторили вслед за ним. Правы? Да.

Все равно ездила. Смотреть. Издалека. Потом возвращалась и Мустафе своему готовила еду. Ну уж что было. Фасоль, может быть. Хлеб. Суп томатный.

Так прошло полгода. А потом муж Зехры таки приехал за ней. Не постыдился. Красивый. Одетый по форме приехал. Маршировал по кварталу прямой, как штык. Зашел в дом. Долго там что-то с женой беседовал. Квартал ждал, что сейчас начнется смертоубийство, а нет. Вышел тихо. Едва притолоку фуражкой не задел. Только уже весь какой-то сникший вышел, к машине побрел.

Одна из квартальных теток ему крикнула: «Забирай свою шлюху отсюда. Нам не надо тут такого». А он твердо так сказал, чтоб все слышали, даже те, кто за шторами прятался. «Она мне не жена. Я ее отпустил. Она теперь Мустафе жена. Перед Аллахом».

– Просил вернуться. А я отказала. Любила я Мустафу. Больше всей жизни. Больше всех детей своих и себя самой.

Фасолина падает на пол. Зехра-тейзе щурится, пытается найти беглянку.

– Сейчас подниму, – опускаюсь на колени. Начинаю шарить по полу. Перед моим лицом ее ноги, сбитые и черные. Не те ноги, на которые можно надеть лаковые туфли на платформе.

Короче, после того как квартал узнал, что Зехра с Мустафой теперь муж и жена, помои к двери лить перестали. Но сторонились еще долго. Только когда беременная уже Зехра взялась помогать местным детишкам с уроками, стали чуть доверять. Ну а уж когда она родила дочку, когда начала выходить вместе со всеми во двор, сидеть на траве, качая младенца на коленях, – тогда совсем стала своей.

– И что же, и виллу бросила, и брильянты? – спрашивали ее. Охали от удивления.

– Да. А зачем они мне, когда тут любовь? – удивлялась Зехра.

– Нуу... Любовь любовью, а хлебушка хочется.

– Проживем! – улыбалась Зехра.

– А дети как же? Бросила детей-то? – встревал кто-то.

– Не ваше дело! – хмурилась, вставала и уходила в дом.

Мустафа умер, когда дочке исполнилось три года. Чахотка. Всего с пяток лет получилась им любви. А Зехра никуда не делась из квартала. Так и осталась жить в домике на отшибе. Зарабатывала поденщиной, уроками французского для деток квартальных «богачей». На вопрос «чего к отцу хотя бы не вернешься» пожимала плечами.

«Пять лет жила с Мустафой. И ни за одну секунду из этих пяти лет мне не стыдно. Всю жизнь до этого я провела как конфета в бархатной коробке и не думала, что можно так любить. Понимаешь, Лале?» – она распрямляет плечи. Королева. Чистая королева. Без примесей.

Понимаю. Я понимаю, Зехра-тейзе. Ты рассказывай. А я фасольку полушу.

⁸ Namus (турец.) – достоинство, порядочность.

* * *

У нас в квартале соседка есть Айгюль. У нее муж. Айгюль – тетка красивая. Статная такая. Светловолосая. Чем-то похожа на северных итальянок. Вдобавок «образованная» – закончила аж два курса университета. А там любовь-морковь, закрутило-понесло, дети-быт-кастрюльки-свекровь. Университет Айгюль бросила сразу после свадьбы, но все равно по меркам нашего квартала – «образованная».

Вот за эту «образованность», а также за непривычную богатую статью и непокорный подбородок Айгюль своим мужем бывает раз в неделю бита. А чтоб знала свое место и не высовывалась! И то правда – все бабы как бабы, а у этой взгляд свысока и походка неубиваемо-лебединая.

Айгюлин муж человек незлобивый, простой (сторожем в школе работает), меланхолический, но порядки знает. Не может жена над мужем приоритетничать. Не положено. Поэтому в субботу, после вечернего азана, выпивает муж бутылочку раки для нужного озвещения и идет Айгюль бить. Бьет не жестоко, несильно, но значительно. Так, чтоб весь квартал слышал и понимал, кто в доме хозяин.

Не то чтобы Айгюль эту ситуацию считала нормальной, но не оспаривает. Этим она в квартале социально адаптируется, получает необходимую долю сочувствия соседок. Видите ли, если б она вся такая белокурая, полногрудая и образованная была еще и не бита – всё. Считай, вечный бойкот и шушукания за спиной. А так – всё в порядке. Как у всех.

Опять же не потому, что тут в каждой семье жен бить принято. Нет. Принято страдать. Вместо регулярного битья может выступать регулярная безработица, чахотка, шизофрения, игромания, дурная сноха, непослушный сын, нахальный сват, брат в тюрьме или армии, или какой непроходящий таинственный сглаз... Несчастливым можешь ты не быть, но обделенным быть обязан. Отсутствие социальной депривации означает социальную несостоятельность.

Вот поэтому-то Айгюль не слишком огорчена, и того, что она вот уже лет двадцать как еженедельно мужем бита, не стесняется.

– Мой опять вчера напился, с катушек съехал, – жалуется она, демонстрируя соседкам цветастый бланш под глазом.

– Вах, вах, вах. Негодяй, – качают головами наши местные сплетницы, и социальное равенство восстановлено. И можно сидеть на табуреточках в садике и спокойно пить чай.

Айгюль, хоть и «образованная», давно уже наша – квартальная. Хотя где-то с краю стучит в ней копытцами непокоренный феминистический бес, тот, что поселился в ней двадцать лет назад вместе с цитатами из переводной литературы и местной прокоммунистической публицистики.

Этого беса Айгюль может показать лишь мне. Краешком хвоста. Изредка. И то лишь потому, что я русская. Потому что я здесь ненадолго. Потому что передо мной, «европейской женщиной», Айгюль нестерпимо стыдно. Не за себя, за Турцию – страну светского ислама. Айгюль стыдно так, что она даже прикрывает бланш ладонью и слишком часто пожимает плечами. И говорит так страстно, словно только что вернулась с лекции по французскому символизму.

– Видишь ли, Лярис. Исламское общество слишком традиционно. Патриархально. Наши женщины привыкли подчиняться, наши мужчины привыкли подчинять. Не мне менять устоявшийся уклад. Но я так завидую европейским женщинам! Особенно их отношениям с мужьями.

– Почему это? – интересуюсь я.

– Европейских женщин мужья не бьют, – Айгюль вздыхает завистливо. – Они их уважают.

– А то! – гордая за Европу, киваю я.

* * *

Вы уже, наверное, представляете и мой квартал, и людей, что там живут, и тетку Айше – квартальную сплетницу, и некрасивую грустную Фатму – вдову кладбищенского сторожа, и веселую Фиген – беззубую и бесшабашную, Ахмета – бакалейщика с выдающимися усами, его дочку Айшегюль. А может, и не представляете вовсе. Да и ладно. А я эти лица помню, вижу перед собой. Простые, уставшие, нестерпимо нерусские и в то же время странно нечужие лица. Они хорошие. Правда-правда. С непривычки наверняка они покажутся странными, шумными, глупыми, даже пошлыми. Все эти их проблемы «кто кого избил, кто на ком женился, кто вышел замуж девственницей, а кто нет, кто купил новую стиральную машинку, и почему это у соседки синяк под глазом» выглядят убого и наивно. Думаешь: «Вот ведь дети гор...» Но это не так. Они просто другие. И когда наконец-то поймешь степень этого «другие», все становится на свои места.

Они просты и прекрасны. На самом деле! У них есть Босфор, холмы, мужские кофейни и девушки-птички, завернутые с ног до головы в чаршафы. У них есть лукун и жареные мидии, у них есть грустные песни про любовь и смерть – «тюркю», и грустные, но по-другому песни про любовь и смерть – «арабески». Наши русские «страдания» по сравнению с этими заунывными, душераздирающими воплями выглядят наивно, по-северному прохладно.

Любовь, кровь, смерть, опять любовь, недосуицид или даже досуицид, и все обязательно рыдают. С раннего детства они живут внутри бесконечной мелодрамы. Иначе не могут, не привыкли, не желают. Мелодрама дарит необходимый адреналин, придает и без этого цветной средиземноморской жизни блестящие оттенки. Да и нельзя по-другому жить под синим-пресиним небом, под оранжевым солнцем, среди цветущих мандаринов и оливок. Нельзя. И жаркая восточная кровь пульсирует в сердечно-сосудистых системах, подгоняемая томительным ритмом свадебных барабанов – давулов. Бум, бум, бум, бум... Любовь, кровь, смерть, опять любовь...

«Я люблю, а меня нет. Умру за любовь», – и в бездонных глазюках нерусская страсть. Эту фразу и этот взгляд турецкие девочки и мальчики начинают выдавать уже лет с пяти. С зари и до зари шумит аплодисментами мыльная опера нон-стоп. Тут у каждого есть свое амплуа. Примы, герои, первые любовники, инженер, наперсники и наперсницы, матроны, благородные отцы и злодеи. А если вдруг ты выпадаешь из немудреного сюжета, то немедленно становишься всего лишь зрителем – почти ненужным аксессуаром на этом празднике жизни. Им не нужен зритель, достаточно огней рампы, вечных, как звезды, и декораций, непостоянных, как волна.

Я там поначалу как раз была именно зрителем. Необученная ни одной из предлагаемых ролей, не желающая примерить единственно подходящие мне шапочку «шутихи» или очки «суфражистки», я очутилась в партере.

И офигела.

Люблю – не люблю, уйдешь – зарежу, вскрою вены – убьюсь об стену... Любовь.

Негодяй ее обманул и бросил, она стала проституткой от горя и спилась... Любовь.

Развратница обещала выйти замуж, не вышла, он бросился в Босфор... Любовь.

Несчастливая девушка заболела чахоткой, когда увидела его с другой... Любовь.

Я, разумеется, плакала, сочувствовала, как и положено зрителю. Но как я ржала шепотом. Хм, тоже мне «любовь». Особливо хороша была одна соседка восемнадцати лет от роду, которая распахивала себе вены с периодичностью раз в месяц. Главное, что каждый этот раз в месяц весь квартал скапливался возле девицыного дома и ахал, охал, и рвал на себе

волосы в знак солидарности, а потом все по очереди ходили к барышне в больничку, носили соболезнования и молоко. Казалось бы, после пятого раза надо бы забыть про девчонку с ее любовью... Ан нет!

Я ржала и в перерывах между отделениями бегала покурить. Но шло время... Припекло солнце, и плескался Босфор. Шло время. Я разучила пару арабесок про бедного лесника и ветреную дочь паши. Я изучила классику турецкого кинематографа, мало чем отличающуюся от шедевров Болливуда. Я выслушала миллион квартальных и околосквартальных историй. И однажды поняла, что не всегда «мыло» это мыло. Что иногда все эти кукольные спектакли на самом деле трагедии. Потому что ЛЮБОВЬ.

* * *

Гюльшен-абла⁹ – сухая ветка, головешка, просмоленная рыба-сельдь – жила в доме под номером 11. Худая, коротко стриженная, с недовольно стиснутыми губами и вечной цыгаркой в коричневых от табака пальцах. На тощих плечиках – кофтейка неопределенного цвета, на тощей заднице – трикотажные штанцы. Пластмассовые шлепки стискивают растоптанные ступни, ногти съедены грибок. Гюльшен у нас не любили за тяжелый нрав, хриплый голос и вонючее курево. После нее приходилось дом проветривать часа три, а то и поболее – смолила тетка не переставая. У Гюльшен имелся супруг. То есть он имелся, но где-то в тюрьме, куда бедолагу посадили за «сущую безделицу» (цитирую саму Гюльшен) – за разбой. Он, видишь ли, напал на какую-то «богатую стерву» и вырвал у нее из рук мобильный телефон. Повязали разбойничка сразу, поскольку дело происходило внутри торгового центра, утыканного камерами видеонаблюдения. Неудачливый али-баба не успел даже дойти до выхода, как его подхватили под белы ручки, отвели в кутузку. Пострадавшая написала заявление, или что они там пишут, и мужу Гюльшен впаяли приличный срок.

Гюльшен возмущалась: «А что ей, телефона, что ли, жалко... У самой, поди, штук десять, а то и пятнадцать». Тут всем полагалось кивать, причитать «вах-вах-вах» и предполагать, что у «стервы» телефонов минимум двадцать и уж одним-то она могла пожертвовать без обращения в полицию.

Долго ли коротко, но вот уже лет пять Гюльшен обитала без мужа. Домик (и без того убитый) совсем развалился, сын ушел в армию, осталась она одна-одинешенька. Просто одна и совсем одинешенька. Гюльшен шастала по соседям, жаловалась на судьбу, клубилась дымом и пила чай в невероятных количествах, норовя утопить свое прокуренное либидо.

А потом у Гюльшен случилась любовь.

Потому что любви покорны все возрасты, национальные и этнические группы и даже тощая головешка Гюльшен. Любовь по-турецки «ашк» или «севги». Тут надо тоненько чутать грань. Так вот сначала – это ашк, а потом... потом это севги. У Гюльшен случилась любовь – севги. Жестокая, поздняя, безумная. Нежданная. Влюбилась наша Гюльшен (как донесла квартальная разведка) в рыбака Мемиша – женатого злого арнаута с острым взглядом. Мемиш немедля ответил Гюльшен ашк-взаимностью, поскольку в нашем квартале любая (даже чуток проявленная) женская плоть, готовая ответить взаимностью на импульсы тестостерона... Тьфу... Запуталась.

Короче, там мужики такие голодные, что берут, не глядя, все, что шевелится. А тут такой лакомый кусочек. Баба. Несильнастарая. Одна. Дом есть. Муж в застенках. Изголодалась. Ну, Мемиш и не растерялся, завел лямуры на стороне. А что? Очень даже удобно: с утра на море за рыбкой, потом на базар рыбку продать, потом взять с прибыли бутылочку раки и напрямиком к любезнице. А там и ашк, и севги, и даже секс.

⁹ «Старшая сестра», распространенное обращение к женщине в Турции.

Любились они ажно месяца три. Приличия, разумеется, соблюдали. Мемиш нырнул в дверь под цифрой 11 в сумерках, страшно озираясь. Гюльшен таилась хитрой медузой. Но разве ЛЮБОВЬ скроешь? Уже через неделю сплетня расплзлась по нашему и двум прилегающим кварталам, а главные хранительницы квартальной добродетели принялись всяко намекать Гюльшен, что, мол, так и так, от нас не утаишь. Гюльшен, однако, на провокации соседок не реагировала, продолжала сокрушаться о невинно страдающем в застенках супруге. Но в глазах ее светился неземной ашк и небесная севги, щеки розовели, а голос вдруг зазвенел девичьим сопрано.

Квартал гудел, квартал ждал, квартал зрел на события.

А сплетня все ползла, ползла, ползла и однажды не без помощи «доброжелательниц» доползла до жены Мемиша. Не долго размышляя и находясь в состоянии аффекта, обманутая супружница вульгарно набила Гюльшен морду. Тетка она была дебелая, крепкая и крупная – не то что худышка Гюльшен. Силы были неравны, но, поскольку обе дамы сражались за любовь, действие получилось преотменное. Бум! Бам! Хренакс! Фигакс! Ногти! Волосы! Мусорное ведро! Бамс! Аааа! Хренакс!!! Тазик! ООООО! Весь квартал лип носами к окнам, ожидая развязки бойни. Только когда остывшая праведница удалилась и Гюльшен поднялась с земли, поправляя разодранную кофтейку, наши красавицы поспешили к ней.

– Вах-вах-вах. За что это тебя? – ехидно интересовались бабы.

– Да сука... Прямо не знаю за что, – Гюльшен из последних сил держалась, не сдавала позорной «тайны».

– Сумасшедшая какая-то. А это случайно не Мемиша-рыбака жена?

– Почему мне знать. Напала и избила. Точно сумасшедшая.

– А ты бы в полицию бы сходила бы, пожаловалась.

Наши квартальные бабы – редкие змеюки. Дело в том, что в Турции супружеская измена наказуема. Срок небольшой, но ответственность несут обе провинившиеся стороны, да и потом позора не оберешься. Поэтому о полиции речи быть не могло. Никак не могло.

– Да не... Отлежусь я. Оправлюсь. – Гюльшен поковыляла в дом.

После этого случая Мемиш одумался, вернулся в лоно семьи и перестал навещать Гюльшен по вечерам. Намус-контроль пристально следил за развитием событий, а потом сделал вывод: «Мемиш – молодец, свое дело сделал, с женой замирился, Гюльшен бросил. И поделом».

Казалось бы, все. Занавес.

Но не забывайте, что мы с вами где? В Турции. Если бы эта немудреная история произошла с Зиной и Мишей, так бы она и закончилась. Однако наша мелодрама только началась.

Дело в том, что квартал-то остался неудовлетворенным. Ууу, это страшный зверь – квартал. Хищник с коллективным разумом убийцы. Привыкший к крови, алчущий событий, жадный и жаждущий. Кварталу, увы, не хватило синяков и лужицы юшки на крыльце. Поэтому квартал принялся вносить в сценарий драмы свои правки.

Подозрение, что это обманутая жена Мемиша написала в тюрьму, мы отмели сразу же. Ну не могла она найти адреса, да и не стала бы писать в силу малограмотности и полученной уже сатисфакции. Тогда кто? Тогда кто не поспешил на детали и открыл мужику глаза на супружескую «верность» Гюльшен? Мы могли только предполагать... Но сороки тащили на хвосте новость за новостью, и вот уже весь квартал узнал, что Гюльшен получила весточку из тюрьмы от мужа, а в весточке этой угрозы скорой расправы. И вот уже весь квартал замер в ожидании неминуемой развязки. И вот уже сама Гюльшен, поняв наконец-то, что скрывать грехопадение бессмысленно, ходит из дома в дом и обреченно дышит дымом...

– Убьет теперь, – дым кутал рыбью фигурку Гюльшен в сизый саван. – Обещал зарезать. Вот так вот.

– Вах-вах-вах, – ужасались женщины, но в глазах у них маялось любопытство и пальцы потели от возбуждения. – А ты бы на развод подала или в полицию. Или пусть твой рыбак за тебя вступится.

– Убьет он меня. Кому я нужна теперь такая, – она тянулась за следующей сигаретой, обламывала фильтр. Крошки липли к сухим губам.

– Может, обойдется. Побьет и простит. – За сочувствием сквозило «убьет, точно... и пусть, поглядим хоть».

– Да нет. Ну и ладно. Зато хоть налюбилась перед смертью.

Женщины закатывали глаза, охали, хихикали, вздыхали, цокали, мотали подбородками, всячески демонстрируя участие. Гюльшен уходила прочь, оставив за собой дымовую завесу.

– Так и надо шлюхе. И правильно, убьет. – Охали, хихикали, цокали, вздыхали. – А Мемиш? А что Мемиш? Сучка не захочет... Верно сделал тот, кто мужу все разложил как есть. Чего эта сука нас, честных женщин, позорит.

Честные женщины еще целых три месяца подогревали друг в дружке интерес к грядущим событиям. А когда события грянули, честные женщины приняли в них посильное участие: окна были утыканы головами в цветных платках, как лужайки по весне одуванчиками. Собственно тогда как раз наступила весна, и желтели одуванчики. А из дома номер 11 раздавались вопли. Жуткие такие вопли. Там явно кого-то резали на кусочки. Предположительно, нововернувшийся обманутый муж резал на кусочки Гюльшен.

– Вах-вах-вах. Может, полицию вызвать? – выдала «свежую» идею Фатма, что снимает квартиру на втором этаже в доме Ахмета-учителя.

– погоди. Успеется, – разумно одернула торопыгу старшая невестка Фатиха-механика.

В доме 11 вопило до самого утра. Затихало, громыхало чем-то, снова вопило. Притомившийся зритель начал отлипать от окон в полночь и полностью отклеился к рассвету. К утру крики тоже затихли. А к дневному намазу было решено направить к Гюльшен делегацию, чтоб убедиться, что справедливость восстановлена и можно начинать готовиться к поминкам. Не вошедшие в состав делегации, застыли натрий-хлоровыми столбиками на углу возле баக்கала.

– Ну? – Фатма почти бросилась к моей свекровушке, которой выдалась честь возглавить группу посланниц.

– Все, – махнула рукой свекровушка. – Кончено!

– Убил? – встрепенулась толпа радостно.

– Хуже.

– Кислотой облил? – толпа счастливо заколыхалась цветными косынками, зашелестела радостно – таких прелестей у нас в квартале не случалось давно.

– Хуже?

– Тогда что? Что?

– Привел вчера в дом болгарскую какую-то блядь. Заявил, что теперь либо все вместе жить будут, либо пусть Гюльшен идет на все четыре стороны... Вот так вот...

– Ах ты гад, – выдохнула толпа.

– Ах ты подлюка какая... И где только успел эту шлюху подобрать!

– А Гюльшен бедняжка... Ждала его тут, ждала. Вах-вах-вах...

Квартал вцепился в свежий шмат новостей с ожесточением изголодавшейся гиены.

– А Гюльшен-то как? – вполголоса поинтересовался кто-то очень тормознутый.

Но никто не услышал. Квартал пережевывал челюстями новое событие, за ушами у квартала смачно трещало. Позже выяснилось, что Гюльшен все-таки получила причитающееся по полной программе. Что не осталась в долгу, обрушив на голову развратника мужа медный поднос. Что неведомая «болгарская блядь» достойно отразила нападение Гюльшен, рас-

колотив праздничный сервизик, и что в конце концов все успокоилось. Утряслось... Любовь-ашк и любовь-севги сдулись, превратившись в обыденность.

Дом номер 11 зажил спокойно и привычно.

А наши квартальные сантабарбары вовсе и не закончились. Просто перекатались в другое место. Потому что «жить без любви нельзя на свете... нет».

Павла Рипинская Персидский ковер

Я сижу на ковре, под надрывно гудящим кондиционером, который из последних сил разгоняет невыносимую тегеранскую жару. Сложив ноги по-турецки, пишу на стареньком ноутбуке. Рядом на матрасе спит Камран. У нас нет кровати и стола. У нас вообще нет мебели. У нас нет денег, работы, нет своего жилья. И нас в любой момент могут арестовать. Тем не менее я совершенно счастлива...

* * *

...По кремовому ковровому фону вьются небесно-голубые растительные узоры «эслими», которые в России называют арабесками. Подобия пальмовых листьев и изогнутых ветвей сходятся, расходятся, перекрещиваются – неповторимая гармония, удивительные сплетения, подобные жизни...

Когда-то я и познакомилась с Камраном, моим мужем, благодаря вот такому сплетению... невидимых проводов. Я – про Интернет. Тогда Ближний Восток для меня, русской девушки, был тайной за семью печатями и ассоциировался исключительно с верблюдами и террористами. Я даже не смогла бы найти Иран на карте без посторонней помощи. Но, видно, правильно говорят: любовь не знает границ...

Через два года после виртуальной встречи я вышла из самолета в пыльном тегеранском аэропорту, пряча непослушные волосы под сползавший платок. Семья жениха приняла меня как родную. Столько тепла мне, пожалуй, дарили только собственные родители. Первым делом будущая свекровь укутала меня в черный халат ниже колена, с пояском («манто», как говорят в Иране). Исключительно из соображений безопасности. Тегеранская полиция не одобрила бы мою куртку, едва прикрывавшую попу.

Строгая иранская мораль не позволяла нам с Камраном оставаться наедине. Тем более на ночь. Мы попытались вырваться, под предлогом поездки в Исфahan – иранское подобие Санкт-Петербурга, культурную столицу страны. Родители пришли в ужас: не расписанные юноша и девушка, путешествующие в одиночку в мусульманской стране, играют с огнем. Нам обоим было по девятнадцать – с точки зрения иранцев, это еще глубокое детство. И потому с нами отправили старшую сестру Камрана, которая сразу намекнула, что никаких глупостей не потерпит...

В отеле Камран держался от меня на пионерском расстоянии, всячески давая администратору понять, что он – «просто переводчик для иностранки». Нас поселили в разных концах гостиницы.

С трудом уговорив сестру остаться в номере, я выволокла Камрана на улицу.

Мы поймали такси и отправились к старинному мосту Си-о-Се Поль.

– Ну что? Хочешь сказать, что так будет всегда? Мы вообще сможем где-нибудь остаться вдвоем?

– Не знаю.

– Я два года ждала встречи. Я работала день и ночь, чтобы сюда приехать. Я тебя люблю и хочу быть с тобой. Как же быть?

– Не знаю.

– Ты хоть что-нибудь знаешь?!

– Я должен тебе кое-что объяснить. Мы не в Тегеране. Мы в другом городе, и если мы с тобой угодим в полицию, нам никто не поможет.

– Что ж ты раньше молчал, что у вас тут все так... так не по-человечески?

– Я не знал. Правда, не знал. До тебя у меня девушек не было. Я понятия не имел, как все сложно. Пойдем, я расскажу тебе одну историю...

Мы спускаемся с моста к реке, тщетно пытаюсь укрыться от палящего солнца под деревьями. Камран рассказывает про своего старшего брата Бахрама. Про то, как в шестнадцать лет тот влюбился в соседку, и они встречались в парке. Там на лавочке их и застукали стражи Исламской революции. Девушка прикинулась, что к Бахраму не имеет никакого отношения (и правильно сделала, иначе не миновать бы ей больших неприятностей). «А чего на лавочке с ним сидишь?» – «А он приставал!» Бахрам – благородный юноша, отнекиваться не стал, и его мгновенно сопроводили в кутузку. Хорошо, у отца тогда были деньги и богатые знакомые – через две недели парня удалось-таки вытащить. Все эти две недели Бахрама били нон-стоп. Зубы и челюсть у него до сих пор не в порядке. И к девушкам он потом долго не приближался...

Еще Камран рассказывал, как его мать, впервые после Исламской революции, осмелилась выйти на улицу не в традиционной черной чадре, а в темном пальто до пят, наглухо укутав голову платком. Он, семилетний малыш, семенил следом и ужасно боялся, что их вот-вот побьют камнями за такую «вольность»... Потом он вспомнил, как в десять лет они с братом поехали к другу за опасной контрабандой – видеомагнитофоном, строго запрещенным в Иране в те времена. Устройство завернули в подарочную бумагу и в скатерть, а сверху пристроили вазу с цветами. И на лестнице несколько раз поблагодарили хозяев за «чудесный кухонный комбайн» (среди соседей мог оказаться стукач). А дальше ехали по улицам с блокпостами на каждом перекрестке, и было страшно: вдруг полицейским «подарок» покажется подозрительным?..

Наконец мы вышли на главную площадь Исфохана Нагшэ-Джахан и взобрались на верхний этаж шахского дворца – Али-Капу. С веранды открылся поразительный вид. Я, застыв на месте, неотрывно смотрела на бирюзовые купола на фоне такой же бирюзы. Небесной. Покрытые тончайшими узорами и каллиграфией минареты мечетей околдовывали настолько, что у меня невольно вырывалось:

– Да-а-а, за такую красоту исламу можно многое простить...

Пусть поймут меня правильно: тогда я еще не знала, что понимание ислама иранскими властями остается весьма своеобразным.

Но даже красота старинного города не могла развеять душевную тоску: через неделю уезжать! Выходит, Камрана я не увижу минимум полгода. Да и сейчас даже за ручку не подержаться...

Вечером сестра ушла, а я, сославшись на плохое самочувствие, осталась в номере. Но угрюмое беспокойство не давало сидеть на месте. Выйдя из гостиницы, я устало мерила шагами двор, проклиная собственную невезучесть. Внезапно решившись, подошла к окну Камрана (номер был на первом этаже) и постучала. Захотелось немедленно влезть в окно, но увы – его надежно защищала решетка. Сонный Камран выглянул, улыбнулся и сделал приглашающий жест внутрь. Как выяснилось впоследствии, это движение означало: «Подожди меня в вестибюле». Я прочла его по-своему: «Давай ко мне в номер!»

Опасливо взглянув на ресепшен, расслабляюсь: администратора нет. Значит, никто меня не увидит. Прокравшись к номеру Камрана, тяну дверь на себя. Она заперта. С ума сошел? Изо всех сил колочу дверь – открыв ее, Камран быстро втаскивает меня внутрь. Нет, он не звал меня, но теперь уже не важно. Мою сумку мы прячем в шкаф, через минуту туда же летит ненавистное манти и платок. Все, по иранским понятиям, я уже раздета, и меня можно арестовывать за незаконную связь с молодым жителем Исламской республики. Но Камран рискует больше: меня в случае чего просто вышлют из страны, он же может отправиться под суд.

Я обняла милого – и... тут же раздался настойчивый стук в дверь. Попались! Камран в секунду затолкал меня все в тот же здоровенный шкаф. На наше счастье, это оказалась уборщица. Камран широко распахнул дверь: мол, смотри, один я тут. Ведь ее мог и администратор подослать: отелю лишние неприятности ни к чему. Вот и следят за постояльцами почти как полиция. Все же остаться вдвоем нам тогда удалось...

* * *

...На верхушках стеблей распускаются цветы – «хатайи», фонтан голубых, коричневых, белых и светло-зеленых лепестков. Они символизируют радость и изобилие. Цветы граната, виноградные лозы, едва распустившие бутоны. Словно оазисы среди иранской пустыни, они напоминают: в жизни есть моменты счастья, до краев наполненные надеждой...

Наступил день нашей свадьбы. Настоящей, иранской, в роскошном, украшенном зеркалами свадебном зале – «таларе». Приглашено пятьсот человек. Я ждала этого дня несколько лет. Чтобы стать законной женой Камрана, отдала все, что имела. Да что там... Предала веру отцов, приняв мусульманство: ведь того требует иранское законодательство. Дала мужу полную власть над собой и своим телом: отныне даже не смогу выехать с территории Исламской республики без его разрешения. Да и ни один иранский хирург не возьмется меня оперировать без его согласия. Камрану принадлежат и наши будущие дети: в случае развода опека над ними почти стопроцентно перейдет к нему – без одобрения супруга я не смогу не то что вывезти их за границу, но даже открыть в банке счет на их имя. Я шла на этот брак с открытыми глазами. Потому что любовь не имеет цены – если и наступит час расплаты, нынешнее счастье того стоит.

На свадьбу («аруси», как говорят иранцы) пошли последние средства семьи. Ведь в Иране свадьба – важнейшее событие в жизни обеих семей. Меня нарядили как куклу: салоны красоты по традиции буквально «штукатурят» невесту, накладывая ей на лицо килограммы пудры и румян, а свадебные платья по своей замысловатости не уступают изощренным фантазиям кинодив. «Кататься» по городу, как в России, тут не принято. Зато обязательна фотосессия с участием невесты и жениха где-нибудь на природе. Фотографы – чаще женщины, поэтому невеста может позволить себе позировать без хиджаба. Для меня подготовка к празднику промелькнула как в тумане. И вот, наконец, решительный момент: под приветственные крики родни мы входим в талар. Свекровь не забывает окурить меня «эсфандом»¹⁰ – от дурного глаза.

Кстати, талар – это не один зал, а два. Женский и мужской. Курсировать между ними можно только жениху с невестой. Мужчины пляшут отдельно, женщины отдельно. Певец выступает в мужской части (певицам соло выступать запрещено). Я плыву по «женскому отделению». Поскольку мужчинам сюда путь закрыт, дамы разодеты в шикарные декольтированные вечерние платья по последней европейской моде. Улыбаюсь, здороваюсь. Потом мы с мужем проходим в отдельную комнату: на полу накрыт особый свадебный стол, с зеркалом, свечами, массой блюд и украшений. Каждый предмет – символ. Усаживаемся в два кресла. Камран берет в руки огромный Коран, и мулла заводит длинную речь, которая должна скрепить наш союз. Если честно, я не столько слушаю муллу, сколько... хруст сахарных голов над нашими головами. Так принято: в момент обряда перетирать сахар, чтобы совместная жизнь была сладкой. Сахар собирают в специальное покрывало, которое над женихом и невестой держат незамужние девушки. И после церемонии высыпают на себя, мол, после этого уж точно быстренько выйдешь замуж.

¹⁰ Благовонием из степной руты.

Прислушиваюсь к монотонным интонациям муллы. И вовремя! Оказывается, меня спрашивают, хочу ли я выйти замуж за Камрана. Выкрикиваю «Да, да, да!», как и принято в российском ЗАГСе. Мужнины родственнички в комнате начинают тихо хихикать. Оказывается, полагается скромно молчать и делать недовольный вид. Окружающие будут отвечать мулле: мол, «невеста ушла цветочки собирать», пока тот не повторит вопрос трижды и не пригрозит, что сам сейчас отсюда уйдет. Будущая жена должна до последней минуты демонстрировать, что не очень-то ей и охота замуж. Но у нас, русских, душа нараспашку: уж если в омут – так с головой!

Впрочем, как бы то ни было, а чувствовала я себя настоящей восточной принцессой. К тому же родственники с обеих сторон одаривали меня дорогими украшениями, демонстрируя свое уважение.

А дальше – почти как дома, на родине. Пляски и угощения. Разве что никаких «горячительных»: в Иране соблюдают сухой закон. В женском зале мы танцевали, наверное, восемь часов без передышки. Обычай велит невесте кружиться в танце с каждой гостьей, хотя бы немного! Так что пришлось нелегко. А еще был танец с мужем... В момент действия к нам присоединялись многие танцующие, вкладывая в руки крупные купюры, – мелкими же осыпали с головы до ног, словно дождем. В этот момент казалось, что все вокруг, пусть даже в причудливом, не до конца понятном мне Иране, улыбается и радуется нашему счастью.

* * *

...По краю ковра один за другим следуют картуши – «базубанди». Внутри, на темном фоне, зеленые узоры, напоминающие арабскую вязь. Слова из Корана? Нет, такие цитаты помещают только на настенные ковры. По обыкновению будут ходить люди, а попирать ногами святые слова, по мусульманским традициям, нельзя. Следует помнить, что этот мир с его скорбями – лишь временное обиталище, и каждый день может оказаться последним...

Мы ехали на такси по непривычно притихшему Тегерану. На улицах развевались черные и зеленые флаги, большая часть прохожих тоже одета в черное. Наступил траурный месяц мухаррам, когда шииты традиционно скорбят об одном из любимейших мучеников – имаме Хусейне¹¹. В такие дни полагается активно молиться, а за преступления в законе прописано удвоенное наказание. Кульминация траура – Ашура – на десятый день мухаррама устраиваются красочные процессии с религиозными песнопениями, во время которых мужчины стегают свои спину и плечи плетками из железных цепей.

Ближе ко дню церемонии Камран меня «порадовал»:

– Ты же не будешь возражать, если я приму участие? Я так делаю каждый год. Это не больно. Просто традиция...

– Гм... – я крутила в руках плеточку, которая вблизи выглядела не так уж устрашающе. – Только родственникам моим в Москве не рассказывай, хорошо? А я, кстати, могу присоединиться?

– Ну а зачем? Женщины идут сзади, отдельно. Чадру надо будет надеть черную. Тебе это надо? Да и ходить придется всю ночь. Устанешь...

Но мне было надо. Когда еще выпадет шанс посмотреть на общее сумасшествие? Кстати, к процессии может присоединиться любой. Заранее тренируются только главные

¹¹ Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб (627–10 октября 680) – третий шиитский имам. После смерти своего брата Хасана перенял руководство восстанием в Куфе, однако потерпел поражение в борьбе против Омейядов и погиб в битве под Кербелой. Шиитская традиция считает Хусейна праведником и мучеником. Для шиитов Хусейн – образец того, как герой может бороться против тирании и быть хорошим мусульманином.

участники действия: те, кто бьет в барабан, задавая общий ритм, и те, кто поднимает гигантский «алям» – здоровенное сооружение с плюмажем, увешанное щитами, мечами и красивыми фигурами из стали. Алям – дорогое удовольствие: делается вручную и украшается серебром. Несколько человек (а иногда один силач) несут его впереди процессии, порой останавливаясь, чтобы перевести дух. Алям так тяжел, что его перетаскивание не легче самобичевания.

Ко дню церемонии готовятся в каждом районе: иллюминация, плакаты с изображением Хусейна и импровизированные «походные палатки». Перед ними ставят свечи и загадывают желания. Кое-где блеют несчастные барашки: ближе к утру их заколют, чтобы сварить кашу с бараньим мясом – «назр» (благотворительное пожертвование), который будут раздавать бедным.

В назначенный час, облачившись в черное, выстраиваемся в установленном порядке: впереди мужчины, сзади женщины. С первым ударом в барабан над процессией разносятся звуки «нохе» – ритмичной песни на особый мотив, рассказывающей историю мученичества Хусейна. Раньше певец должен был отличаться весьма зычным голосом – нынче же на помощь «нохистам» пришли микрофоны и громкоговорители.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.